

# Хаддум / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 24 января, 2025

Хаддум / рассказ ХАДДУМ

Старую Хаддум все так и называли – Старая Хаддум. Не из-за почтенного возраста – два года назад внуки с помпой отметили ее восьмидесятилетие, а из уважения. Старый значит мудрый. С датой юбилея вышла заковыка – в начале двадцатого века метрики детям, рожденным в ее каменной берберской крепости, выписывали сильно позже их рождения, а замученные бессонницей матери не очень помнили, в какой день и месяц они родили своего очередного ребенка, поэтому в ее свидетельстве стояла следующая запись: «Хаддум Лааллюш, пятая дочь Исмаила Лааллюша и Бушры Алауи, рожденная в сезон проливных дождей, на третий день месяца Джумада аль-уля».

В паспорте, выданном пятидесятилетней Хаддум уже в послевоенные годы, значилась взятая с потолка дата 28 декабря 1903 года, но затеявшим юбилейное празднество внукам важно было вычислить правильный день рождения своей почтенной родственницы. Открутив в обратном направлении колесико лунного календаря и порывшись в архивных документах и вековой давности газетных статьях, они вычислили приблизительную дату. Если верить расчетам, случилось это 5 января 1905 года – на два года и восемь дней позже даты, указанной в метрике. И тут перед озадаченными потомками встал вопрос, когда же отмечать юбилей, потому что состояние здоровья Хаддум ухудшается, и есть большая вероятность того, что до настоящего своего восьмидесятилетия она не доживет. После долгих раздумий было решено отметить праздник по паспортной дате, но если Аллах позволит Старой Хаддум дожить до истинного ее юбилея, то можно будет отметить его еще раз, с меньшей, а то и большей помпой.

Хаддум отнеслась к празднеству благосклонно, но отстраненно – даже не попробовала дорогущего торта из известной на весь мир французской кондитерской, который в специальной сумке-

холодильнике привез из Касабланки внук Мохаммед – сын ее младшей дочери Наимы. Столы накрыли перед домом: натянули тент между финиковыми пальмами, растущими по углам выжженного беспощадным летним солнцем дворика, который даже зимой умудрялся пахнуть раскаленной глиной и дебело-пыльными по невыносимой жаре побегами опунции – Хаддум до сих пор помнила запах щетки, которой Большая Маамма снимала с ее игольчатых листьев кошениль, из которой потом добывала редкой красоты карминный цвет; блюд наготовили столько, что еды хватило на три дня – кончилась она аккурат к отъезду старшей правнучки, осмелившейся, не заручившись согласием прабабушки, приехать на празднество с молодым ухажером, светлоглазым егозливим французом, который, вместо того чтобы провести время в чинной мужской беседе за щедро накрытым столом, бродил по дому и, восторженно сыпля «манификами», щелкал на аппарат все, что попадалось на глаза. Даже мимо горшка для испражнений не прошел, так и норовил вытянуть его из-под кровати, чтобы сфотографировать при дневном свете. Еле отогнали. Впрочем, чего можно было ожидать от этого иностранца, с которым, судя по разговорам, собиралась связать свою жизнь правнучка Мириам. Беспардонности у иноверцев не отнять.

Все три дня столпотворения Хаддум провела у себя в комнате. Внуки с правнуками ее особо не беспокоили: заглянут с утра, чтобы поцеловать руку и пожелать ей доброго дня, и вечером – попросить благословения на грядущий сон. Говорили они на царапающем марокканском наречии, плохо понимая шуршащий берберский язык бабушки, потому общение сводилось к общим фразам. Зато много времени с ней проводили дочери и сыновья – сидели подолгу рядом, разговаривали о том, о сем. Хаддум слушала вполуха, не потому, что пренебрегала общением, а потому, что знала – ничего нового они не расскажут, как наступали на одни и те же грабли, так и будут наступать. Ела она у себя в комнате, исключительно в одиночестве, считая процесс поглощения пищи на виду постыдным и унижающим чувство собственного достоинства. Мать рассказывала, что, даже будучи крохотным младенцем, она прекращала сосать грудь в тот самый миг, когда в комнату кто-то заходил, пускалась в жалобный плач

и не успокаивалась, пока комната снова не опустеет. А с годовалого возраста она ела сама, спрятавшись ото всех в родительской спальне.

Помня об этой привычке Хаддум, дети покидали комнату, как только приходило время еды. Помощница по дому Зухра, замотанная в платок молчаливая рябая женщина, засидевшаяся в старых девах из-за обезобразившей лицо оспы, убедившись, что хозяйка осталась одна, приносила ей на подносе поесть. В пище Хаддум была нетребовательна и консервативна: на завтрак ей подавали неизменный мед с аргановым маслом, оливки, пшеничный хлеб в полбяной корке грубого помола и мягкий козий сыр, на обед – непременно суп и кускус с овощами, вот уже пятьдесят с лишним лет она не ела мяса, с того дня, как от тяжелой болезни умер Али. Завтрак и обед заканчивались традиционным марокканским чаепитием, Хаддум предпочитала пить чай без сахара, только заедала его крохотным миндальным печеньем. Ужинала она крайне редко, почти всегда ограничиваясь двумя приемами пищи. После обеда, если не было кусачей жары, выходила во двор, сидела подолгу под финиковой пальмой, кроша птицам остатки хлеба. Птицы поджидали ее на заборе, облепив его край щебечущей вереницей. При виде выходящей из дома Хаддум мигом срывались с насеста и неслись наперебой к ней, шелестя разноцветными крыльями. Хаддум садилась так, чтобы видеть острый пик возвышающейся над крепостью Лысой горы, которая, невзирая на густой лес, покрывающий ее склоны, умудрилась на самой своей верхушке остаться голой, как коленка, за что и была прозвана Лысой. Хаддум крошила птицам хлеб и не сводила взгляда с уходящей копьем в небеса горы – она знала каждый ее изгиб, каждую морщинку, каждую пещеру. Она уже восемьдесят лет наблюдала ее со своего двора, всякий раз выискивая что-то новое в ее облике, и не находила: железные деревья были так же высоки, как в ее детстве, каменные дубы – так же неохватны, кедры, взрезающие своими куполами желтое небо, так же неприступны, а зияющие темными зевами пещеры молчаливы и устрашающи, как провалы во времени – нырнул, и уже не найти дороги обратно. Впрочем, что такое восемьдесят земных лет Старой Хаддум по сравнению с библейским возрастом Лысой

горы, если не взмах прозрачного крыла стрекозы? Если кто из них и замечал перемены, так это гора, с холодным безразличием наблюдающая каменную крепость, за триста лет выросшую в ее подножье. На протяжении всех этих трехсот лет через крепость проходили караваны, увозящие в далекий Агадир, где располагались хранилища торговцев, драгоценные грузы: шелк, медь, пшеницу, оливковое и аргановое масло, приправы, ковры. Они брели вдоль нижней кромки тысячелетнего леса Лысой горы, мимо поросших кустарником можжевельника и тамариска полей, через олеандровые, называемые здесь розовым лавром, луга – к песчаным берегам и оазисам низин. На протяжении всего пути вереницы навьюченных верблюдов сопровождали отряды берберских воинов-охранников, которые, сменяя друг друга, передавали их, словно эстафету, из рук в руки. За безопасность дороги вдоль подножья Лысой горы и до первых песчаных дюн отвечал отец Хаддум – мулаи [1] Исмаил. Он был высоким и плечистым великаном из старинного племени горных берберов, называемых аари [2] в честь местности, откуда они родом. Лысая гора была вотчиной аари – людей исполинского телосложения и удивительной нездешней красоты – золотистая кожа, огненно-рыжий отлив густых волос, голубые глаза. Женщины племени аари считались самыми красивыми невестами Среднего Атласа, а мужчины – желанными женихами для любой уважающей себя семьи. Правда, смешанных межплеменных браков в те годы не наблюдалось, а те редкие брачные союзы, которые случались, заключались исключительно для того, чтобы положить конец кровной вражде. У Исмаила Лааллюша, несшего ответственность за мир на землях аари, был свой отряд воинов-конников, который защищал караваны от набегов грабителей. Сам Исмаил, человек верующий и уважаемый, не знающий страха и не ведающий ненависти, кроме холодного презрения к тем, кто не чтит законов человеческих, за свою неподкупность и бесстрашие снискал уважение не только среди горожан и торговцев, но и среди темных работорговцев, окольными путями вывозивших в Эс-Сувейру предназначенных на продажу несчастных мужчин, женщин и детей. Работорговцы обходили за версту земли аари, а грабители игнорировали караваны, сопровождаемые конным отрядом мулаи Исмаила. Если по

какой-то причине отец Хаддум в этот день не возглавлял свой отряд, то воинов предварял его конь с накинутой на седло темно-синей галабеей, на спине которой можно было разглядеть символ рода Лааллюш – перекрещенные в форме креста меч и кинжал, кончики клинков которых украшали тонкие оливковые ветви. Символ этот повторялся на коврах и тканях, сотканных мастерицами рода Лааллюш, и в искусном узоры из краски лавсонии, которой расписывали свои ладони и ступни в праздники женщины. Тот же символ татуировали на лбу и запястьях всех девочек рода Лааллюш – как оберег, как принадлежность предкам, как грозное предупреждение, что любая попытка покушаться на них будет караться гневом мужчин племени аари.

Со временем эти татуировки обесцвечивались, но совсем не исчезали, и их можно было разглядеть даже на морщинистых лицах самых древних старух. Хаддум была последней девочкой рода Лааллюш, которой сделали татуировку. Хаддум, и еще одна девочка, которая никакого отношения к их роду не имела. Как ее звали на самом деле, она не помнила – имя у нее было медленное и шелестящее, словно поворот мельничного жернова, размалывающего в грубую муку подсушенное на жарком солнце пшеничное зерно. Большая Маамма, бабка мулаи Исмаила, пошептав над ней молитву, нарекла ее Фатимой, а снятый с шеи крохотный крестик спрятала на дне горшочка с благовониями. Девочка прожила недолго, два или три месяца, и умерла от тяжелого воспаления легких, с которым так и не смогла справиться врачующая любую хворь Большая Маамма. Похоронили ее на закате, и единственное, что о ней помнила Хаддум, это ее сбитые ступни, прекратившие кровить только после смерти, и удивительной красоты черные глаза в обрамлении густых длинных ресниц. Мальчик, в отличие от девочки, выжил. Большая Маамма нарекла его Али, крестика у него не нашла.

Детей привез домой отец – нашел на тайной тропе работорговцев. Они бросили их захлебываться собственным кашлем на краю песчаной равнины, огибающей дугой земли аари. Дети были так слабы, что не могли даже самостоятельно пить, обоих бил озноб, в бреду они говорили – на каком-то своем, шероховатом и царапающем слух языке, задыхаясь в приступе кашля, и сучили по

циновке сбитыми в кровь израненными пятками. Мальчику было от силы лет пять, девочке, может быть, девять, они были удивительно похожи – одинаково темноволосые, с огромными глазищами и тонкими чертами лица. Спустя неделю мальчик поправился, девочка пролежала дольше, но и она понемногу приходила в себя, тогда и стал вопрос о татуировке – на ней настояла мать Хаддум, чтобы убереечь ребенка от насмешек сверстников. Знали бы, что она умрет, не стали бы трогать. Но кто мог такое предугадать? Большая Маамма была уверена – раз мальчик выжил, то и девочка обязательно выкарабкается. Разговоров о том, что дальше с ними делать, в семье Исмаила Лаалюша не возникало, вырастить как своих и помочь встать на ноги, по-другому и быть не должно.

Первую половину дня, пока сверстники были в начальной школе, Али вертелся дома, вторую половину бегал с ними по крепости, гоняя воробьев, или же до поздней ночи играл в камушки.

– Прекратит плакать – его тоже отдадим в школу, – заключила Большая Маамма.

Али плакал ночами, во сне. Ныл на одной заунывной ноте, словно волчонок – у-у-у, у-у-у. По лицу струились горячие соленые слезы, Большая Маамма просыпалась, шла через весь дом, с третьего своего этажа на первый, где спали мальчики, садилась у него в изголовье и читала молитву. Али плакать не переставал, но успокаивался, лежал, свернувшись калачиком, тихо всхлипывал. Проснувшись, ничего не помнил.

Девочка, в отличие от брата, никогда не плакала и не стонала. Все эти месяцы она пролежала в комнате Большой Мааммы, куда та забрала ее, чтобы постоянно быть рядом. Хаддум в том году стукнуло тринадцать, и на нее возложили обязанность мыть полов в спальнях комнатах, раз в неделю она стучалась в дверь Большой Мааммы (без разрешения к прабабушке не заходил никто, даже отец), а потом скребла пол, стараясь не глядеть в сторону девочки, которая лежала, отвернувшись к стене и, выставив из-под простыни обмазанные эвкалиптовым маслом израненные ступни. Она так и не смогла встать на ноги – любая попытка сделать шаг заканчивалась сильными судорогами и кровотечением. Большая Маамма просила иногда вынести ее во двор, садилась, подобрал

свои юбки, закатывала длинные рукава галабеи, обнажая татуированные запястья, сажала девочку себе на колени, прижимала к груди. Девочка молчала, прикрыв глаза, иногда кашляла, сотрясаясь худенькими плечами, рядом стоял Али, держал ее за руку, но потом, устав от неподвижности, срывался и наматывал круги по двору, Большая Маамма пела тихим голосом заунывные берберские песни, не отрывая взгляда от вершины Лысой горы, а над ее головой вился прозрачным облаком рой золотистых бабочек-однодневок.

Как так получилось, что они попали к работорговцам, не удалось разузнать – дети совсем не понимали берберского. Если бы девочка выжила, она, со временем выучив язык, смогла бы, наверное, рассказать. Но она умерла, а Али был слишком маленьким, чтобы что-то помнить. Пристально наблюдавшая за ними Большая Маамма однажды сделала резанувшее, словно по живому, открытие – детей очень пугал раздающийся с высокого минарета крик муэдзина: мальчик цепенел, а девочка лежала не дыша, только вздрагивала голубоватыми веками. Но потом они привыкли и перестали бояться, и она успокоилась. Однажды проходящий через земли аари караван принес весть о реках крови, в которых затопила свои народы Османская империя. Мулаи Исмаил хмыкнул – турки и до их краев доходили, но отступили, зализывая раны, не по зубам им оказались неприступные берберские крепости. Но разговор о том, что часть людей была продана турецкими военными в рабство, он слово в слово передал Большой Маамме. Та тяжело вздохнула, покачала головой. Вполне возможно, что эти дети оттуда. Но если все так и есть, то единственное, что они могут для них сделать – это никогда не упоминать о прошлом. Не бреди раны, иначе никогда не научишься быть счастливым, верила Большая Маамма. Она попросила внука никому этот разговор не пересказывать. Исмаил обещал и слово свое сдержал.

Через месяц, несмотря на то что Али продолжал плакать по ночам, Исмаил велел отдать его в школу, а на возражения Большой Мааммы ответил, что смена обстановки поможет мальчику легче справиться со страхами. Хаддум вызвалась помочь со сборами и провозилась с доской для письма несколько дней. Али

вертелся под ногами, смешно коверкая, повторял за ней слова. Она обстоятельно рассказывала ему, как делается доска: сначала нужно раздобыть у лесоруба деревянный квадрат нужного размера, далее продолбить в нем дырочку, чтобы можно было вешать на гвоздик, а потом тщательно отшлифовать до матового блеска горстью твердой глины. Али слушал, не понимая даже мизерной части слов, но Хаддум была уверена – он каким-то необъяснимым чутьем вычисляет смысл того, о чем она говорит.

– В школе пишут перьями, вырезанными из бамбука, а чернила раздобывают из кедра – в корнях дерева разводят костер, оно нагревается и плачет черными вязкими слезами. Пригоревшую часть ствола потом аккуратно вырезают и обмазывают специальным травяным настоем. Рана на дереве понемногу затягивается, покрывается корой. Кедр живет дальше, но в корнях остается небольшое дупло, в котором, если свернуться калачиком, можно переждать дождь. Ты меня понимаешь?

– Ты меня понимаешь! – утвердительно кивал мальчик и расплывался в щербатой улыбке – недавно у него выпал первый молочный резец, и щель в зубах придавала его личику невозможно уморительное выражение. Хаддум смеялась и гладила его по вихрастой голове. Она полюбила его всем сердцем, и даже сильнее, чем родных братьев, может быть, потому, что жалела из-за доставшихся на его долю страданий. Кто мог знать, через какие испытания пришлось пройти этим детям, мальчику и девочке, брату и сестре, разлученным с родными и увезенным в чужую страну, чтобы быть проданными на черном рынке рабов Эс-Сувейры...

Али ценил доброе отношение Хаддум и отвечал ей взаимной привязанностью, а когда умерла сестра, он ни с кем, кроме нее, не общался, первое время вообще отказывался от еды, только безутешно рыдал, вставляя в свою непонятную журчащую речь редкие берберские слова: «очень болит», «помоги». Если Хаддум не могла его успокоить, за дело бралась Большая Маамма, она выходила с ним во двор, садилась лицом к Лысой горе, усаживала его на колени, шептала молитвы. Али плакал, зарывшись лицом в складки ее шелковой галабеи.

В школу он пошел к началу сезона дождей, первое время Хаддум

водила его туда и забирала сама. Она украдкой наблюдала за ним в окно – он сидел в углу, самый младший среди учеников, потерянный и испуганный, прижимал к груди доску для письма. Вихрастая его шевелюра выделялась на фоне остальных рыжеватозолотистых голов темным пятном, казалось – на краю цветущего луга присела большая черная птица с взъерошенными перьями, присела – и забыла вспорхнуть.

Мулла, обучающий грамоте, был человеком суровым и непреклонным, ученики навсегда запоминали тяжесть палки, которой он охаживал их, если они отвлекались от занятий. Хаддум, наслышанная от братьев о его жесткости, очень переживала за Али, но напрасно – тот быстро влился в учебный процесс, спустя время бойко выводил бамбуковым пером на доске суры Корана, а потом, еле складывая слоги, читал их среди шумного многоголосья – мальчики учили суры вслух, притом у каждого она была своя, отличная от других, считалось, что тот, кто научится слышать свой голос среди гама, в тишине сумеет различить чужие мысли.

Весной Хаддум выдали замуж за троюродного брата, свекор приходился ей троюродным дядей, свекровь – сводной теткой. Дом мужа стоял впритык к отцовскому дому, забор к забору, чтобы заглянуть к Большой Маамме, не надо было выходить во двор, можно было подняться на плоскую каменную крышу, перешагнуть на крышу отцовского дома и спуститься по невысоким ступенькам вниз, на третий этаж. Потому особых переживаний по поводу замужества у Хаддум не было, она просто ушла из одной родной семьи в другую. Понесла она сразу же и к следующему сезону дождей родила девочку, которую нарекли Аишей. Али иногда прибегал поиграть с ребенком, Хаддум с улыбкой наблюдала, как он возится с малышкой – и песню споет, и поиграет, и убаюкает. – Вырастешь – женишься на ней, – как-то в шутку сказала она. – Хорошо, – согласился он.

Так и случилось. Спустя шестнадцать лет Али стал зятем своей названной сестры, женившись на ее старшей дочери. А еще через три сезона проливных дождей, дождавшись рождения сына Юнеса, он сгорел от тяжелой неизлечимой болезни, поразившей его легкие. Братья увезли его в Касабланку, чтобы показать врачам.

Один из них вернулся через десять дней – удрученный и сникший, рассказал, что пришлось оставить Али в больнице, под наблюдением врачей, что дела его совсем плохи, и надо спешить, чтобы успеть попрощаться. Хаддум собралась за считанные минуты – отвела детей к свекрови, закуталась в галабею, сбегала в комнату Большой Мааммы – после ее смерти там никто не жил, и она стояла практически нетронутой, такой, какой была при ее жизни. Изматывающую дорогу до Касабланки Хаддум не запомнила, единственное, что врезалось в память – испуганная, еще не осознавшая ужаса случившегося Аиша, баюкающая трехмесячного сына, и сидящий рядом с ней отец – Хаддум впервые видела его таким потерянным. Путь был долгий – на телеге до ближайшего города, потом почти сутки на раздолбанном автобусе по пыльному бездорожью, мотор чудовищно чадил и кряхтел, Хаддум пугалась и поджимала ноги, но не выпускала из рук сумку, которую крепко прижимала к груди.

Али был совсем слаб, но оставался в сознании, словно ждал, чтобы попрощаться. Он был совсем еще молод, двадцать четыре года, ни одного седого волоса в густой шевелюре, тонкие черты лица, огромные бездонные глаза.

Аиша положила ему на грудь спящего ребенка, села рядом, заплакала.

– Не плачь, – поморщился Али. Она умолкла.

Хаддум поставила на тумбочку сумку, вынула глиняный горшочек с благовониями, который забрала из комнаты Большой Мааммы, достала крохотный крестик, вложила ему в руку.

– Это все, что осталось от твоей сестры.

Али понял, что она туда положила, сжал руку в кулак так, что побелели кончики пальцев.

– Спасибо.

Он умер той же ночью, совсем чуть-чуть не дожив до рассвета. Доктор, неотступно находившийся рядом, спросил потом у Аиши, откуда покойный знал греческий.

– Греческий?

– Да. Перед смертью он заговорил на греческом. Я учился в Афинах, понимаю язык. Десять лет...

– Что он сказал? – перебила его Хаддум.

– Эрхоме се сас. Я к тебе иду.

– Эрхоме се сас, – повторила про себя Хаддум. – Эрхоме се сас. Похоронили Али в Касабланке. Ехали назад на том же автобусе – он дребезжал и глох всю дорогу, водитель ковырялся в моторе, ругая его иблисом, Хаддум прижимала к груди сумку с горшочком благовоний, мутное стекло царапала песчаная круговерть, Юнес спал, причмокивая во сне выразительными отцовскими губами, тень от пушистых ресниц лежала на щеке.

Спустя три года Аиша снова вышла замуж, родила потом еще пятерых детей. Хаддум впервые стала бабушкой в тридцать один год, а к пятидесяти годам у нее уже было двадцать восемь внуков – десять мальчиков и восемнадцать девочек. Она разницы между ними не делала, но больше других все-таки любила Юнеса – единственного смуглого отпрыска большого рода Лаалюш. Юнес знал, что он грек, и что предки его были христианами, но оставался в религии семьи, которая приняла его отца, исправно постился в месяц Рамадан, выучился на врача, переехал в Марракеш, женился на арабке, чем разбил сердце своей бабушки – Хаддум, будучи чистокровной берберкой, относилась к шумным арабам с настороженностью и легким презрением – что с них, беспардонных пришлых, взять! Сразу после свадьбы новобрачные приехали погостить, Хаддум, к тому времени перебравшаяся в комнату Большой Мааммы, была с женой внука сдержанна, если не холодна, а ее кошку (мало того, что сама явилась, так еще блохоноску свою привезла) возненавидела всем сердцем. На свою беду кошка облюбовала для солнечных ванн третий этаж дома, и Хаддум несколько раз спотыкалась об нее, выходя из комнаты. А однажды, когда кошка, выскочив из-под ног, с сердитым ревом скатилась вниз по лестнице, она в сердцах метнула в нее тапок. Не попала, зато душу отвела. Сана, жена Юнеса, будучи девушкой не по годам мудрой, делала вид, что неприязненного отношения прасвекрови не замечает, была с ней вежлива и предупредительна. После приезда, чтобы сделать приятное родственникам мужа, ежедневно пекла хлеб – настоящий, берберский, в корочке грубо смолотой муки. Хаддум есть его отказалась, жалуясь на изжогу, и попросила приносить ей хлеб, испеченный младшей снохой. На протяжении двух недель она

нахваливала его, всячески делая акцент на том, что правильный берберский хлеб могут печь только девушки племени аари. Домашние украдкой переглядывались, но молчали. Однажды, выйдя из комнаты раньше обычного, она увидела, как Сана выпроваживает из дома Юнеса – тот, зажав под мышкой сверток с краюхой хлеба, выскользнул за ограду, постоял там немного, а потом вернулся, намеренно громко хлопнув калиткой. Хаддум молча возвратилась в комнату, села на топчан, хмыкнула. На каменном подоконнике, освещенный лучами просыпающегося солнца, стоял горшочек с благовониями.

– Ты хочешь сказать, что с возрастом у меня стал портиться характер? – спросила Хаддум. Она не знала, к кому обращается – к Большой Маамме, к Али, к крестнику его сестры или просто к горшку. Ей важно было услышать ответ. И она его услышала.

– Сана, дочка, – позвала она, высунувшись в дверь.

Внизу, в шумной гостиной, где накрывали стол к завтраку, воцарилась настороженная тишина.

– Моу! – сварливо отозвалась кошка.

«Пусть Аллах превратит тебя в собаку!» – мысленно огрызнулась Хаддум, но тут же одернула себя.

– Са-ана! – позвала она еще раз.

– Да, бабушка, – застучала каблучками по ступенькам арабка.

– С сегодняшнего дня я буду есть хлеб, который испекла ты, – сообщила Хаддум и, не дожидаясь ответа, захлопнула дверь.

– Большого от меня не проси! – вперила она палец в горшок с благовониями. Горшок благоразумно смолчал.

Жизнь менялась так стремительно, что Хаддум не успевала не то что свыкнуться, а даже заметить этих перемен. Но кое-что, безусловно, не проходило мимо ее внимания. В крепости провели электричество, в домах появилась вода – теперь не надо было таскать ее из колодцев, надрывая спину. Однажды, взрывая воздух невыносимым грохотом, прокатилась по улицам управляемая сыном косого Хакима груда металла, которую все с благоговением называли мобилет. Хаддум не поленилась сходить посмотреть на этот мобилет. Лучше бы не ходила. Сын Хакима чинил его молотком и сваркой – тут приварит, там приколотит – и заправлял на глаз смесью масла и бензина. Мобилет дымил так,

что Хаддум потом полдня мутило.

Спустя время в гостевом холле дома с большой помпой установили телевизор. Хаддум игнорировала его целый месяц, потом все-таки не вытерпела, спустилась глянуть. Домашние, посмеиваясь, слушали выступление двух мужчин, которые, передразнивая трудоемкую марокканскую кухню, рассказывали о способе приготовления куропатки. «Берете куропатку, начинаете ее кускусом. Берете потрошеную домашнюю курицу, начинаете ее куропаткой. Берете гуся, начинаете его курицей. Барана начинаете гусем, корову – бараном, верблюда – коровой, слона – верблюдом. Готовите 24 часа на медленном огне, поливая соусом. Подаете так: разрезаете слона, достаете верблюда, из верблюда достаете корову, из коровы – барана, из барана – гуся, из гуся – курицу, из курицы – куропатку. Едите ее с чувством исполненного долга, потому что куропатка удалась на славу».

Хаддум махнула рукой, ушла во двор, села напротив Лысой горы. Она жила так давно, что сама ощущала себя горой. Она научилась смотреть на человеческую суету отстраненно и издалека и смирилась с ее скоротечностью. Наступит завтра – и не станет ничего: ни кривеньких каменистых улиц, ни выложенных разноцветной мозаикой стен, ни ветхих, изъеденных древесным жучком дверей, ни подпаленных солнцем верхушек финиковых пальм – проведи ладонью – и они, рассыпавшись в соломенную пыль, канут в небытие.

«Жизнь похожа на полуденный сон – недолгий, разноцветный, жаркий, – думала Хаддум. – Она звучит смехом наших детей, она изливается слезами вслед нашим умершим родным. Она пахнет океаном, пустынным ветром, кукурузными лепешками, мятным чаем – всем, чего с собой нам не дано унести».

Хаддум очень редко разговаривала с Аллахом – старалась не беспокоить Его по пустякам. Расстраивалась, наблюдая безмерную суету, которую развели вокруг Него глупые люди. Никогда не ездила в Хадж, но скрупулезно высчитывала деньги, которые потратила бы на паломничество, и отдавала их какой-нибудь нуждающейся семье. Она знала, что вера должна быть в сердце, а не напоказ.

Иногда, впрочем, крайне редко, она осмеливалась обратиться к

Нему. Просила дать знак, когда придет ее время. Чтобы успеть помыться, одеться в чистое, прочитать прощальную молитву Шахада.

– И, если можно, – добавляла она, подняв к небу свои выцветшие глаза, – оставь мне еще полвздоха, чтобы я сказала слова, которые произнес перед смертью Али.

Хаддум верила – они ее услышат. Мальчик и девочка, спасенные когда-то ее отцом, несчастные дети, не сумевшие уйти от своей горькой судьбы. Когда придет время, на излете последнего своего вздоха она повторит за Али – эрхоме се сас. Аллах всемилоостив, он ей это позволит.

---

#### Примечания

1 Почтительное обращение к мужчине.

2 Гора (берб).

---

#### Об авторе: НАРИНЭ АБГАРЯН

Родилась в Берде. Живет в Москве. Окончила Ереванский государственный лингвистический университет им. В. Я. Брюсова. Автор книг «Люди, которые всегда со мной», «Манюня», «Манюня пишет фантастический роман», «Манюня, юбилей Ба и прочие тревобления» и др. Повесть «Семён Андреич. Летопись в каракулях», получившая премию «BABY-НОС», была признана лучшей детской книгой последнего десятилетия. НекауаӀар